

# Мысль и Слово: подходы Л. С. Выготского и Г. Г. Шпета (часть 1)

В. П. Зинченко,  
*академик,  
доктор психологических наук*

Последовательность имен ученых в названии статьи не соответствует хронологии. Густав Густавович Шпет (1879—1937) старше Льва Семеновича Выготского (1896—1934). Они были более чем знакомы: Л. С. Выготский был студентом Г. Г. Шпета в Народном университете им. А. Л. Шанявского, работал два года в его семинаре. В начале 20-х гг. Л. С. Выготский начал работать в Психологическом институте, в котором Г. Г. Шпет был, как позднее писал А. Н. Леонтьев, самым знаменитым профессором. В конце 20-х гг. Г. Г. Шпет и Л. С. Выготский преподавали на педологическом факультете Второго Московского университета. И тем не менее в трудах Л. С. Выготского имеется лишь одна ссылка на Г. Г. Шпета, да и та по случайному поводу, в его книге «Психология искусства». Между тем книги Г. Г. Шпета «Явление и смысл» (1914), «Эстетические фрагменты» (1922), «Внутренняя форма слова» (1927), «Этническая психология» (1927), в которых обсуждается проблематика мышления и речи, мысли и слова, значения и смысла, внешней и внутренней форм слова, были опубликованы значительно раньше, чем «Мышление и речь» (1934) Л. С. Выготского.

Сегодня трудно гадать о причинах игнорирования Л. С. Выготским и всей его научной школой (А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец и др.) трудов Г. Г. Шпета. Это мог быть страх или осторожность, порожденные стилем поведения и письма Г. Г. Шпета. Доминантами стиля были свобода, достоинство и независимость мысли и слова Г. Г. Шпета от набравшей силу марксистско-ленинской идеологии. Большевики эту независимость чувствовали, несколько раз отстраняли его от научной работы и в конце концов арестовали и расстреляли (1937). В отличие от Г. Г. Шпета, Л. С. Выготский принял марксизм и заразился его претензиями реформировать не только общество, но и науку. Уже в «Психологии искусства», написанной в 1923 г., Л. С. Выготский серьезно утверждал, что «и физика, и химия, и минералогия, конечно же, могут быть марксистскими и антимарксистскими...» [6, с.17]. О реформистских интенциях Выготского интересно написал Б. Г. Мещеряков (2000), усмотревший параллели в биографии и социальных установках Мартина Лютера и Льва Выготского. Впрочем, марксистские убеждения Л. С. Выготского не спасли его от критики.

Работы Л. С. Выготского запрещались, разоблачались, объявлялись порочными, даже злодейскими. К счастью, он успел умереть в своей постели (1934).

Причина игнорирования могла состоять и в непонимании мысли и слова Г. Г. Шпета, которые действительно опередили свое время. Я буду исходить из того, что многим, по своей сути в большей степени герменевтическим, чем психологическим, идеям Г. Г. Шпета о мысли и слове недоставало психологического контекста, который был создан исследова-

ниями мышления и речи, конечно, не только Л. С. Выготского. Кто знает, если бы Л. С. Выготский жил дольше, он, возможно, связал бы свои исследования с идеями Г. Г. Шпета. Такая возможность была упущена учениками Л. С. Выготского, которые сместили свой интерес с анализа значения и смысла слова в исследовании мышления и речи на анализ деятельности и действия. Основания для подобного смещения интереса имелись в исследованиях самого Л. С. Выготского.

Так или иначе, но я попытаюсь не противопоставлять подходы Л. С. Выготского и Г. Г. Шпета, а представить их как взаимодополняющие друг друга. Поскольку взгляды Л. С. Выготского значительно лучше известны, чем взгляды Г. Г. Шпета, то я из дидактических соображений начну с подхода Л. С. Выготского и дополню его подходом Г. Г. Шпета. Поэтому в названии статьи имя Л. С. Выготского стоит на первом месте.

\* \* \*

Проблемы мышления и речи, мысли и слова относятся к разряду вечных.

Л. С. Выготский, обычно не отличавшийся избыточной скромностью и склонный к достаточно категорическим суждениям, в конце книги «Мышление и речь» пишет: «Мы не имели никакого намерения исчерпать всю сложность структуры и динамики речевого мышления. Мы только хотели дать первоначальное представление о грандиозной сложности этой динамической структуры...» [5, т.2, с. 359]. Конечно, мышление — это движение мысли, но не следует преуменьшать сложность определения и исследования мысли. Мысль, независимо от ее истинности или ложности, проявляет себя то в слове, то в образе, то в действии или в поступке, то во всем вместе и еще в чем-то неуловимом, таинственном. Возможно, это неуловимое и есть самое существенное и интересное в мысли. Важна не столько однозначность и определенность ответа на вопросы, что такое мысль и как она возникает, сколько наличие интенции узнать, понять, увидеть нечто, стоящее за мыслью. Возникновение подобной интенции есть признак подлинной мысли, отличающейся от того, что «взбредет в голову», от мнения. Увидеть за... это есть мышление, а увидеть за мыслью — это есть рефлексия по поводу мысли, ее второй такт (или акт), постскриптум к мысли, как сказал Иосиф Бродский, начало ее обоснования, доказательства.

Г. Г. Шпет и Л. С. Выготский были не первыми и не последними, кто предлагали свои ответы на вопрос, что стоит за мыслью. Р. Декарт увидел за мыслью состояние очевидности, в том числе и собственного существования: *cogito ergo sum*.

У. Джеймс увидел за мыслью сырой поток нашего чувственного опыта. И. М. Сеченов увидел за мыслью не только чувственные ряды, но и ряды личного действия. Психоаналитик В. Бион увидел за мыслью фрустрацию, вызванную незнанием. М. К. Мамардашвили увидел за мыслью собственнолично присутствующие переживания.

А. Эйнштейн увидел за мыслью зрительные образы и даже мышечные ощущения (видимо, Эйнштейн был ко всему прочему еще и гением самонаблюдения). Э. Клапаред увидел за мыслью молчание. Математик Ж. Адамар, специально интересовавшийся творчеством великих физиков XX в., это подтвердил: «Слово полностью отсутствует в моем уме, когда я действительно думаю». Поэт Р. М. Рильке сказал об этом по-своему: «Мудрецы превратили в слух свои уста».

А. Белый увидел за мыслью движение и ритм, что вообще характерно для поэтов. А. Блок говорил о том, как творческая сила ритмов поднимает слово на хребте музыкальной волны и ритмическое слово заостряется, как стрела, летящая прямо в цель. М. М. Бахтин увидел за мыслью эмоцию и волю, а в мысли — интонацию: «...действительно поступающее мышление есть эмоционально-волевое мышление, интонирующее мышление, и эта интонация существенно проникает во все содержательные моменты мышления» [1, с. 36]. Он же видел за мыслью другого человека — собеседника, участника диалога: «Человеческая мысль стано-

вится подлинной мыслью, то есть идеей, только в условиях живого контакта с чужой мыслью, воплощенной в чужом голосе, то есть в чужом, выраженном в слове сознании <...> Идея — это живое событие, разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или нескольких сознаний. Идея в этом отношении подобна слову, с которым она диалектически едина» [2, с. 294]. У Л. С. Выготского подобная мысль звучала как единство общения и обобщения.

И. Бродский увидел за мыслью мысль: «Люди думают не на каком-то языке, а мыслями». Замечательно об одном из своих героев сказал А. С. Пушкин: «Думой думу развивает». Эти удивительные заявления поэтов разъяснил О. Мандельштам: «Сейчас, например, излагая свою мысль по возможности в точной, но отнюдь не поэтической форме, я говорю, в сущности, сознанием, а не словом» [9, с.168]. Заметим: все же говорю сознанием.

По-своему понимает это философ М. К. Мамардашвили: думание всегда больше подуманного. И поэтому можно подумать подуманное. Не забыты душа и слово. Как изображает Платон в «Теэтете», душа сама с собой ведет речь о том, что она рассматривает; размышляя, она именно говорит с собою, самое себя спрашивает, утверждает, отрицает. Х. Ортега-и-Гассет увидел за мыслью глубины души: «Зрачки моих глаз с любопытством вглядываются в глубины души, а навстречу им поднимаются энергичные мысли» [11, с. 93].

Л. С. Выготский увидел за мыслью слово, а за речевым мышлением в целом — значение, аффективную и волевою тенденцию. Г. Г. Шпет видел мысль за словом, слово за мыслью и слово в мысли, понимая, конечно, что не всякое слово осмысленно, или омысленно.

Уверен, что читатель сам легко умножит подобные примеры. Едва ли эти разные, порой полярные, взгляды на то, что находится за мыслью, можно принять за ошибки или иллюзии самонаблюдения, в чем, надеюсь, читатель сможет убедиться в конце статьи. Самое удивительное, что все перечисленные мыслители, ученые, поэты правы. Л. С. Выготский поспорил бы только с одной версией: «Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и сознание, наши потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции» [5, т. 2, с. 357]. По сути дела, Л. С. Выготский, идя со стороны психологии, утверждает положение о бытийности мышления и мысли. Г. Г. Шпет намного раньше говорил об укорененности смысла в бытии и соглашался с Парменидом, что «одно и то же мышление и бытие». Или Парменид говорит еще яснее: «...одно и то же мышление и то, на что направляется мысль, и без сущего, в зависимости от которого высказывается мысль, ты не найдешь мышления». Итак, не только предмет бытия для философии есть предмет мысли, но и мысль, на которую направляется философия, есть непременно мысль о предмете, и мысли «ни о чем», следовательно, нет. Здесь у философии как знания твердое и прочное начало» [14, с. 233 — 234]. Добавим, и у психологии тоже. Напомним, что Гегель, а за ним Э. В. Ильенков, К. Поппер утверждали тождество мышления и бытия. Об «участности» мышления в бытии много писал М. М. Бахтин, в аналогичном духе размышлял М. К. Мамардашвили.

И тем не менее рождение мысли, независимо от того, что за ней стоит, остается чудом и тайной. И. В. Гёте, конечно, лукавил, говоря, что мысли приходят к нему как божьи дети, и говорят: вот мы здесь.

А. Эйнштейн был более откровенен. «Я не уверен, — сказал он Максу Вертгеймеру, — можно ли действительно понять чудо мышления» [4, с. 262]. Что не помешало А. Эйнштейну часами рассказывать психологу о тех драматических событиях, которые завершились созданием теории относительности.

Мысль и слово не менее полифоничны, чем сознание. Но к этому заключению нужно еще прийти. И здесь трудно переоценить вклады Г. Г. Шпета, Л. С. Выготского, добавим к ним взгляды А. А. Потебни.

\* \* \*

При всей полифонии сознания и мысли и при всем множестве их возможных источников Г. Г. Шпет и Л. С. Выготский отдавали предпочтение слову, хотя и понимали его по-разному. Начнем с метафорического описания Л. С. Выготского: «То, что в мысли содержится симультанно, в речи содержится сукцессивно. Мысль можно было бы сравнить с облаком, которое проливается дождем слов. Поэтому процесс перехода от мысли к речи представляет собой чрезвычайно сложный процесс расчленения мысли и ее воссоздания в слове» [5, т. 2, с. 356]. На следующей странице Л. С. Выготский пишет: «...мотивацию мысли мы должны были бы, если продолжать это образное сравнение, уподобить ветру, приводящему в движение облака» (там же, с. 357). Пролиться может только то, что уже есть. Поэтому мы можем понимать приведенную метафору так, что уже имеющаяся мысль выражается в слове. В более ранней работе (1926) Л. С. Выготский писал, что мысли реализуются во внутренних движениях, особую группу которых составляют речедвигательные реакции, т. е. внутренняя, или немая, речь [7, с. 196]. Л. С. Выготскому принадлежат и такие образы: «Внешняя речь есть процесс превращения мысли в слова, ее материализация и объективация. Внутренняя — обратный по направлению процесс, идущий извне внутрь, процесс испарения речи в мысль» [5, т. 2, с. 316]. Такие испарения, видимо, и образуют облако, которое потом проливается дождем слов. В сочинениях Л. С. Выготского имеются и другие места, где мысль рассматривается как бы отдельно от слова, с чем диссонируют его не менее категоричные заявления о том, что «мысль не выражается в слове, но совершается в нем» [там же, с. 356]. Конечно, Л. С. Выготского, как и любого автора, можно читать по-разному. А. Р. Лурия, например, не находит у него противоречий: «Согласно Выготскому, мысль есть лишь первоначальный, еще недостаточный замысел, который отражает общую тенденцию субъекта и который не воплощается, а совершается, формируется в слове. Этим утверждением слову придается совсем новая, ранее не описанная функция, а процесс порождения мысли как словесного высказывания приобретает более сложный и динамичный, изменчивый характер» [8, с. 474—475].

Но противоречия у Л. С. Выготского все же есть. Порой они уживаются не только на одной странице, но и в одной фразе: «Нас интересовало одно — основное и главное: раскрытие отношения между мыслью и словом как динамического процесса, как пути от мысли к слову, совершения и воплощения мысли в слове» [5, т. 2, с. 358]. Если мысль не совершилась (свершилась) в слове, то ее нет и не было, а если она не воплотилась, то она была и, как сказал бы О. Мандельштам, в «чертог теней вернулась». Выготский приводит строки другого поэта: мы «в небе скоро устаем» — и тем не менее вновь говорит об испарении речи в мысль, но тут же добавляет, что «сознание не испаряется вовсе и не растворяется в чистом духе», и опять противоречит себе, говоря, что «слово умирает во внутренней речи, рождая мысль. Внутренняя речь есть в значительной мере мышление чистыми значениями» [там же, с. 353]. Если слово умирает, рождая мысль, то последняя остается бессловесной, бесплотной. Если внутренняя речь, пусть не целиком, но в значительной мере есть мышление чистыми значениями, то почему она речь? Таким образом, у Л. С. Выготского чередуются оба варианта: свершение и воплощение, хотя предметом его интереса и исследования является именно воплощение мысли в слове — во внутренней и во внешней речи (о чем разговор будет далее).

Такая ситуация в науке о мышлении и языке не нова. В диалоге Платона «Кратил» Сократ говорит о слове то как об органе научения и распознавания сущности, то как об иконе истины и советует смотреть на саму истину. То же у бл. Августина. В диалоге «Об учителе», в его первой половине, он утверждает, что мы не в состоянии без знака дать понятие о предмете, а во второй — только кажется, что учат слова. Учит сама истина [см.: 3]. По мнению Г. Г. Шпета, выраженному им задолго до написания Л. С. Выготским «Мышления и речи», при абстрактном (от слова) рассмотрении мышления получают качели — от

мышления к слову и обратно [15, с. 143]. Сам Г. Г. Шпет категорически возражает против существования бесплотной мысли, он сомневается в невыразимости мистического сознания, в том, что существует «чудовище — немая мысль без слова». В конце концов мысль есть культурный акт, суть которого состоит в означении. Неозначенного культурного акта быть не может.

Такие «качели» мы наблюдаем в размышлениях Л. С. Выготского. Конечно, не только у него. Г. Г. Шпет категорически не приемлет самой возможности бесплотной мысли. Говоря, что поводом для мысли является чувственно данное, он характеризует его как трамплин, от которого мы вскидываемся к «чистому предмету», но чистому только от чувственного, в противном случае мы должны были бы допустить, что мы и мыслим чувственно. «Другое дело — предмет чистый от словесного субстрата. Нельзя этот вопрос решать по аналогии с первым. Оттолкнувшись от трамплина, мысль должна не только преодолеть вещественное сопротивление, но им же и пользоваться как поддерживающей ее средою. Если бы она потащила весь свой вещный багаж, высоко она не взлетела бы. Но также ни в абсолютной пустоте, ни в абсолютной бесформенности, т. е. без целесообразного приспособления своей формы к среде, она удержаться в идеальной сфере не могла бы. Ее образ, форма, облик, идеальная плоть есть слово.

Без-чувственная мысль — нормально; это мысль, возвысившаяся над бестиальным переживанием. Без-словесная мысль — патология; это мысль, которая не может родиться, она застряла в воспаленной утробе и там разлагается в гное... Слова — не свивальники мысли, а ее плоть. Мысль рождается в слове и вместе с ним. Даже и этого мало. Мысль зачинается в слове. Оттого-то и нет мертворожденных мыслей, а только — пустые слова; нет потрясающих мир мыслей, а только — слова. Ничтожество, величие, пошлость, красота, глупость, коварство, бедность, истина, бесстыдство, искренность, предательство, любовь, ум — все это предикаты слов, а не мыслей, т. е., разумею, предикаты конкретные и реальные, а не метафорические. Все качества слова приписываются мысли лишь метафорически.

Строго и серьезно, без романтических затей, — бессловесное мышление есть бессмысленное слово. И на земле, и на водах, и на небе всем правит слово.

Вывод из всего сказанного короткий: чистый предмет, как предмет мыслимый, будучи рассмотрен вне словесной формы своей данности, есть абстракция... Вынутый из слова, он — часть целого и постольку сохраняет конкретность, но своей жизни вне слова он не имеет, и постольку он — отвлеченность» [13, с. 397—398). Позиция о невозможности бесплотной, полностью неосязаемой мысли выражена вполне ясно и категорично. Столь же ясно утверждается положение о предметности слова и, соответственно, мышления и мысли. Г. Г. Шпет ведет речь не о чувственном предмете, а о мыслимом, о его предметном остоле, о понятии о предмете, о чистом предмете, который входит в структуру слова. Именно за таким подразумеваемым «предметом», а не за чувственностью, не за вещью он признает форму и формообразующее начало того вещественного содержания, которое называется, именуется в слове, а затем участвует в создании полных, живых, предметных понятий. Весьма существенно, что для Г. Г. Шпета предметность мысли, как и сам предмет, связана не с реальным предметом, каким он дан, например, восприятию участников коммуникации и мыслительного процесса. Это смыслообраз предмета, который в своем качестве образа обладает подлинной предметностью, и он как бы транслирует свою предметность мысли и слову. Предметность мысли, конечно, можно называть квазипредметностью или абстракцией, но следует помнить, что она образована нами на основе действительно воспринимаемых (или даже воображаемых) предметов [см. также: 12]. Чувственно данное — все же только трамплин для мысли.

Таким образом, для Г. Г. Шпета не существует «качелей» между словом и мыслью. Он об этом сразу предупреждает читателя, беря в качестве эпиграфа к «Внутренней форме слова» высказывание Платона: «Не одно ли и то же рассудок и речь, — за исключением того толь-

ко, что рассудком был назван у нас внутренний диалог души с собою, совершающий все это безгласно» [Soph. 263E].

При всем своем суровом отношении к психологии Г. Г. Шпет признает, что она не погрешает методологически, когда изучает язык и мышление как деятельности субъекта, но рекомендует не забывать об их слитости: «Мы разделяем интеллектуальность и язык, но в действительности такого разделения не существует. Духовные особенности и оформление языка (*Sprachgestaltung*) народа так интимно слиты, что, если дано одно, другое из него можно вывести, ибо интеллектуальность и язык допускают и поддерживают лишь взаимно пригодные формы. Язык есть как бы внешнее проявление духа, их язык есть их дух, и их дух есть их язык» [15, с. 55].

Значит, язык, слово «правят» не только мышлением, но и духом, и сознанием: «Действительно, анализируя наше сознание, мы не можем не заметить, что «слово» залегает в нем как особый, но совершенно всеобщий слой...» [14, с. 294]. Наименование, или называние, Г. Г. Шпет считает некоторой изначальной функцией сознания, смысл и роль которой должны быть открыты в анализе самого сознания [16, с. 265]. Но и этого мало. Г. Г. Шпет настолько возвеличивает слово, что готов переделать старую добрую формулу принципа познания: наше знание получается из опыта, в широком его смысле — переживания. По мнению Г. Г. Шпета, такая формула для принципа *cognoscendi* слишком груба. Он предлагает свой вариант: «...слово есть *principium cognoscendi* нашего знания» [там же]. Прислушаемся к его аргументации: «Мы называем слово «началом познания» в буквальном смысле источника познания, того первого, из чего мы исходим в своих высказываниях» [16, с. 271]. Его не удовлетворяет рассмотрение слова как «третьего» после «опыта» и «разума» источника познания. Г. Г. Шпет напоминает платоновское решение конфликта между опытом и разумом: оба источника правомерны, так как «опыт» только тогда и становится источником познания, когда в нем открывается разум. «Приняв это решение, — пишет Г. Г. Шпет, — нетрудно найти место и для «третьего» источника — слова. Оно входит составной частью в единство опыта и разума, ибо как разум проникает собою опыт как источник познания, так коррелятивное разуму слово придает этому проникновению постоянные верные формы. И опять мы только воспроизводим древнюю идею *логоса*: к области мысли относится все, что должно быть достигнуто словом [Arist. Poet. XIX. 145 a]. Слово, таким образом, не «третий» источник познания в собственном смысле, — речь идет всюду об одном-единственном источнике, как познавательном целом. Конечно, мыслимо и совершается переживание (опыт), которое не есть познание, и мыслимы также в многообразных функциях слово и разум. Но их единство — познание: в нем переживание обнаруживает свое разумное основание в логической форме слова. Слово, как знак, следовательно, обнимает в себе все три момента познания, как свое значение, и служит в то же время символом их тесного единства» [16, с. 273]. Забегая несколько вперед, скажем, что понимание слова и его значения как логического орудия, логической формы, «терминированного слова» или «термина» могло бы послужить Л. С. Выготскому основанием трактовки значения как единицы анализа речевого мышления.

Добавим, что слово для Г. Г. Шпета было архетипом культуры. Оно в такой же степени воплощение разума, как и орган свершения мысли и ее питательная среда. Подобная «нагрузка» на слово не декларация, а итог многолетней работы Г. Г. Шпета над структурой и функциями слова. К его трактовке структуры слова мы обратимся позже, а сейчас вернемся к Л. С. Выготскому.

Несмотря на указанные выше противоречивые суждения об отношениях мысли и слова («качели»), Л. С. Выготский в замысле книги «Мышление и речь» (см. гл. 1) обещает представить речевое мышление как целое, настаивает на том, что в слове существует живое единство звука и значения, которое и содержит в себе, как живая клеточка, основные свойства речевого мышления. Л. С. Выготский дает определение этой клеточки: «Под единицей

анализа мы подразумеваем такой продукт анализа, который в отличие от элементов обладает всеми основными свойствами, присущими целому...» [5, т. 2, с. 15]. И в отличие от только что приведенного утверждения, что такой клеточкой речевого мышления является слово, он предлагает искать ее во внутренней стороне слова — в его значении [там же, с.16]. Значение Л. С. Выготский отличает от непосредственных ощущений и восприятий и идентифицирует с обобщением. Наконец, он утверждает, что значение слова и есть акт мышления в собственном смысле слова. Представляя собой неотъемлемую часть слова как такового, оно принадлежит царству речи в такой же мере, как и царству мысли [там же, с.17]. Но этого мало. Л. С. Выготский рассматривает значение не только как единство мышления и речи, но и как единство общения и обобщения. Оба единства включаются затем в сложную динамическую систему, представляющую собой очередное единство — единство аффективных и интеллектуальных процессов.

Правомерно поставить ряд вопросов. Что же является единицей речевого мышления: слово в целом или его внутренняя сторона — значение? Если последнее, то какими еще свойствами оно обладает, кроме его обобщенности, какой, кстати, не лишена и перцепция? Не лишены и инстинкты. Слово, действительно, представляет собой единство звучащей (внешней) и значащей (внутренней) сторон речи. Что касается значения, то Л. С. Выготский, наряду с функциональным, ситуационным, категориальным (вербально-логическим) значениями, предусматривает существование «чистых значений», т. е. таких, которые перестают удовлетворять его требованиям к единице анализа. Правда, они могут удовлетворять требованиям, сформулированным Г. Г. Шпетом на 12 лет раньше Л. С. Выготского: «Действительно, какую бы конкретную часть из целого человеческой речи мы ни выделили, в ней хотя бы виртуально заключены свойства, функции и отношения целого» [13, с. 402]. И еще раньше он довольно категорично возражал против введения в психологию объяснения через психические атомы, психический химизм: «Много говорилось о предстоящем синтезе полной картины из разложенных элементов, но в идеале и этот синтез может быть только абстракцией, какое бы сложное целое он ни дал, оно не будет цельным, живым. Химический синтез может дать воду, но только воду химически чистую, и никакой синтез не даст ни капли настоящей «живой» воды с ее обильной флорой и фауной» [15, с. 32].

Если говорить в терминах единиц анализа, то Г. Г. Шпет в качестве таковой берет целое слово, представляя его как грандиозную по своей сложности функциональную структуру во всем многообразии ее внешних и внутренних форм. В последних он ищет и находит «место» для мысли.

Л. С. Выготский всё же, несмотря на много раз встречающуюся у него идентификацию мысли и значения, такого места в предлагаемой им структуре не находит. Анализируя подтекст речи (пока безразлично — внешней или внутренней), он считает необходимым выделить в речевом мышлении следующий за речью новый план речевого мышления. Заметим, на этот раз не единицу речевого мышления, а именно план, который он тем не менее считает твердым. Это уже не облако. Последнее не упрек, напротив, твердость вполне правдоподобна: мысль должна быть твердой, законосообразной. Рене Декарт в свое время говорил о том, что истинна только сильная мысль. Александр Блок говорил о мускулах сознания, а М. К. Мамардашвили — о мускулах мысли. Итак, «новый план речевого мышления есть сама мысль. Первая задача нашего анализа — выделение этого плана, вычленение из того единства, в котором он всегда встречается. Мы уже говорили, что всякая мысль стремится соединить что-то с чем-то, имеет движение, сечение, развертывание, устанавливает отношения между чем-то и чем-то, одним словом, выполняет какую-то функцию, работу, решает какую-то задачу. Это течение и движение мысли не совпадают прямо и непосредственно с развертыванием речи. Единицы мысли и единицы речи не совпадают» [5, т. 2, с. 354 — 355]. Здесь, в конце рассуждения, речь идет не о планах, а о единицах. План мысли выделен из единства речевого мышления, введена новая не названная единица мысли, а не речевого

мышления, как ранее. Затем план мысли назван процессом, наконец сказано: «Один и другой (мысли и речи. — В.З.) процессы обнаруживают единство, но не тождество» [там же, с. 355]. Единство, но не тождество — это магическое заклинание диалектических материалистов, которым обычно прикрывается незнание. Хотя далее вновь говорится о переплетении единиц слова и мысли, даже сделан эвристически полезный намек на их сложные превращения, но постулированное ранее единство речевого мышления распадается.

Причиной отмеченных колебаний Л. С. Выготского может быть недостаточно расчлененное представление о структуре слова в целом и игнорирование понятия «внутренняя форма слова», введенного В. Гумбольдтом и по-разному истолкованного А. А. Потебней и Г. Г. Шпетом. Л. С. Выготский, за редчайшим исключением, не пользуется понятием «внутренняя форма», которое использовали В. Гумбольдт, А. А. Потебня и Г. Г. Шпет, а предпочитает говорить о «внутренней стороне» слова, определяя ее как значение, и идентифицирует его с мыслью и в конце концов отрывает ее от слова. «Чистые значения», о которых говорит Л. С. Выготский, — это и есть мысль без слова. Приведенный взгляд Л. С. Выготского воспроизводится его последователями. Так, например, в логике П. Я. Гальперина имеется такая последовательность этапов формирования умственных действий: предметное действие, громкая речь, внутренняя речь, «чистая мысль». При этом остается неясным, от чего «очистились» значения и мысли. Если от слова, то в чем же они воплотились? Подобные сомнения относительно «чистых значений», «чистых мыслей», разумеется, не умаляют значения исследований онтогенеза мышления и речи, в том числе и исследований драмы развития понятий у детей, выполненных Л. С. Выготским, как и значения исследований функционального генеза умственных действий и понятий, выполненных П. Я. Гальпериным.

\* \* \*

Последую примеру Л. С. Выготского и выскажу парадоксальное утверждение. Хотя он и разъединяет мысль и слово, но излагает интересные соображения и исследования, имеющие прямое отношение к совершению и выражению мысли в слове. В настоящем контексте весьма существенны результаты изучения Л. С. Выготским функций и взаимоотношений эгоцентрической и внутренней речи. Здесь проблематика мысли и слова выступает особенно выпукло.

В известной дискуссии с Ж. Пиаже Л. С. Выготский рассматривает эгоцентрическую речь как генетически промежуточную, переходную от внешней к внутренней речи форму. Л. С. Выготский — тонкий наблюдатель — замечает, что эгоцентрическая речь ребенка «легко становится мышлением в собственном смысле этого слова, т. е. принимает на себя функции планирующей операции, решения новой задачи, возникающей в поведении» [5, т. 2, с. 107]. Он предполагает, что эгоцентрическая речь «становится психологически внутренней раньше, чем она становится физиологически внутренней. Эгоцентрическая речь — это речь внутренняя по своей функции, это речь для себя, находящаяся на пути к уходу внутрь, речь уже наполовину непонятная для окружающих, речь уже глубоко внутренне проросшая в поведение ребенка...» [там же, с. 108]. Итак, «эгоцентрическая речь представляет собой ряд ступеней, предшествующих развитию внутренней речи, она выполняет ряд интеллектуальных функций. Она не отмирает, как утверждал Ж. Пиаже, а представляет собой один из феноменов перехода от интерпсихических функций к интрапсихическим. Судьба эгоцентрической речи — перерастание во внутреннюю речь» (там же, с. 317 — 320). К сожалению, Л. С. Выготский изменяет этой разумной логике. Не позволяя умереть эгоцентрической речи, он допускает умирание внутренней речи, а значит, и ее прародительницы — речи эгоцентрической (?). Выходит, что Ж. Пиаже в конце концов оказывается прав. Тем не менее заключение о перерастании эгоцентрической речи во внутреннюю позволило Л. С. Выготскому осуществить перенос целого ряда отчетливо наблюдаемых свойств эгоцентрической речи на речь внутреннюю.



Конечно, остается неясным вопрос о законности переноса. Не является ли такой перенос приписыванием свойств одного объекта исследования другому? Потом этот «методологический» прием широко использовался его последователями не только в сфере культурно-исторической психологии, но и в контексте деятельностного подхода к психологии. Например, А. Н. Леонтьев, в соответствии с такой же логикой, говорил о принципиально общем строении внешней и внутренней деятельности. Утверждалось даже их тождество (Н. Ф. Талызина). Чтобы утверждать это, нужно в одной руке иметь внешнее, а в другой — внутреннее. И к тому же иметь меры и инструменты для их соизмерения.

Такой исследовательский прием оказывается достаточно коварным. Если внимательно проанализировать многочисленные характеристики, которые дает Л. С. Выготский внутренней речи, то обнаруживается, что они описывают скорее внешние ее свойства: краткость, стенографичность, телеграфный стиль, отрывочность, чистую предикативность, агглютинативность, аграмматизм и далее всё в таком же духе, что характеризует речь для себя. Одним словом, это похоже на разговор с умным, понимающим человеком, с которым приятно и помолчать. Исходя из своеобразия синтаксиса внутренней речи, Л. С. Выготский считал, что меняется ее семантика: она становится все более контекстной, идиоматичной, включает в себя не только предметные значения слов, но и все связанное с ними интеллектуальное и аффективное содержание. Это, в свою очередь, приводит к преобладанию во внутренней речи контекстного смысла слов над их предметным значением.

Читая Л. С. Выготского, видишь, как бьется его собственная мысль, которая не может непротиворечиво выразиться или совершиться в слове: мысль не помещается в слове, мысль и слово оказываются с самого начала вовсе не скроенными по одному образу; между ними существует скорее противоречие, чем согласованность; речь по своему строению не зеркальное отражение мысли; речь не может одеваться на мысль, как готовое платье; речь не служит выражением готовой мысли, грамматика речи не совпадает с грамматикой думания (как будто последняя уже известна!)... И наконец, коронная фраза: «Мысль не выражается, а совершается в слове», за которой следует обескураживающее (и тавтологическое) заявление: «... противоположно направленные процессы развития смысловой и звуковой сторон речи образуют подлинное единство именно благодаря противоположной направленности» [5, с. 307]. Обескураживающее потому, что смысловая сторона, она же внутренняя, развивается от целого к части, от предложения к слову, а внешняя сторона речи идет от части к целому, от слова к предложению [там же, с. 306]. Попробуем понять, что может скрываться за этими положениями. Целое — это некоторый внутренний смысл (или, может быть, мысль?). Потенциально он мог бы выразиться предложением, но ребенок еще не способен сделать это и выражает одним словом. Такое бывает и со взрослым. Человек ищет для выражения смысла или мысли слово, пусть хотя бы одно. Поставим вопрос: в чем же этот первичный, исходный смысл (или мысль) воплощен до слова? Поэтический ответ давно дан Осипом Мандельштамом: это шепот раньше губ. Прислушаемся к тому, что писал о слове Мандельштам-мыслитель в 1919 г., т. е. примерно тогда же, когда Г. Г. Шпет работал над анализом структуры слова: «...медленно рождалось «слово как таковое». Постепенно, один за другим, все элементы слова втягивались в понятие формы, только сознательный смысл, Логос, до сих пор ошибочно и произвольно почитается содержанием. От этого почета Логос только проигрывает. Логос требует только равноправия с другими элементами слова. Футурист, не справившись с сознательным смыслом как с материалом творчества, легкомысленно выбросил его за борт... Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов» [9, с. 168 — 169]. Заметим на будущее, что поэт за поэзией видел смысл, Логос, а не образ. Справиться со смыслом, действительно, трудно не только в искусстве, но и в психологии. Л. С. Выготский ведь постулирует единство слова и мысли (смысла) и не должен отступать от этого единства. Но отступает. Велика инерция

рассмотрения мысли абстрактно от слова. Поиски (и муки) Л. С. Выготского не случайны. Они отражают реальную сложность проблемы.

Отвлечемся пока от вопроса о том, в какой плоти — вербальной или иной — существует первичный, исходный смысл. Заметим, что смысл не только достояние мышления. Он не столько является структурным компонентом двигательных, перцептивных, мнемических структур или соответствующих действий, направленных на решение тех или иных задач, сколько пронизывает перечисленные структуры. Выражаясь языком Л. С. Выготского, смысл обеспечивает их единство, порой достаточно противоречивое. При этом смысл входит в качестве направляющей их деятельность силы. И решение двигательных, равно как и мыслительных, задач состоит в том, чтобы реализовать, воплотить, выразить его. Если задача решена, то это будет второе воплощение смысла, хотя если признать бесплотность мысли и смысла, то неизвестно, в чем был воплощен первичный, исходный смысл или замысел. Второе его воплощение есть опредмечивание, если угодно, означение первого смысла в перцептивных, моторных, операциональных, вербальных значениях. Каких — зависит от задачи. Именно в значениях, образах, т. е. во втором воплощении смысла, индивиду впервые приоткрывается исходный, первичный смысл, у него возникает мысль о смысле, и он узнает, чего он действительно хочет и что он ищет, в чем причина фрустрации. Найденное может оказаться образом, действием, мыслью. Последняя пусть неуклюже, но будет выражена в слове. Лишь после такого выражения, объективации она может стать доступной анализу, трансляции и т. п. Этот, действительно, трудный пункт размышления о втором воплощении первого (неизвестно, в чем воплощенного), неизреченного смысла можно проиллюстрировать поэтической метафорой О. Мандельштама: «Вчерашний день еще не родился».

Значит, Л. С. Выготский оперирует мыслью и словом как двумя вещами, пытаясь по-разному приладить или приспособить их друг к другу. Когда же он говорит о внутренней стороне слова, о его значении, то здесь его обычное красноречие изменяет ему. Он его идентифицирует то с обобщением, то с мыслью, то с путем к ней, иногда даже почти с сознанием: значение слова прорастает в сознание и само развивается в зависимости от изменения сознания [5, т. 1, с. 164]. Встречаются и противоречащие приведенным характеристики значения. Прочитируем наиболее развернутую: «Значение не есть сумма всех тех психологических операций, которые стоят за словом. Значение есть нечто более определенное — это внутренняя структура знаковой операции. Это то, что лежит между мыслью и словом. Значение не равно слову, не равно мысли. Это неравенство раскрывается в несовпадении линий развития» [там же, с. 160]. Выписка приведена из конспекта А. Н. Леонтьева, сделанного по докладу Л. С. Выготского «Проблема сознания». Оттуда же приведем и последнюю запись: «Значение относится не к мышлению, а ко всему сознанию» [там же, с. 167].

Для основной, главной единицы анализа, каковой было объявлено значение в начале «Мышления и речи», — не слишком богато. Наиболее интересна в контексте проблемы мысли и слова характеристика значения как внутренней структуры знаковой операции. Здесь Л. С. Выготский раскрывает роль значения как опосредствующего звена между мыслью и словом. Позднее А. В. Запорожец назовет знаковую операцию или операциональное значение кристаллом действия.

Л. С. Выготский возвращается к значению в конце книги, приводит разъяснения Ф. Полана о соотношении смысла и значения и подводит итоги собственных исследований. Главное состоит в преобладании смысла над значением. «Значение есть только одна из зон того смысла, который приобретает слово в контексте какой-либо речи, и притом зона наиболее устойчивая, унифицированная и точная. Как известно, слово в различном контексте легко меняет свой смысл. Значение, напротив, есть тот неподвижный и неизменный пункт, который остается устойчивым при всех изменениях смысла слова в различном контексте» [5, т. 2, с. 346]. Другими словами, значение является только камнем в здании смысла

[с. 347]. Это не случайная оговорка. Она соответствует той скромной роли, которую значение сыграло в книге. Далее следует звучащее формально положение о двойном опосредовании мысли: сперва значениями, а затем словами. «Значение опосредует мысль на ее пути к словесному выражению, т. е. путь от мысли к слову есть непрямой, внутренне опосредованный путь» [там же, с. 356 — 357]. Таким образом, главная единица анализа мысли и слова выступила лишь в роли одного из двух посредников, к тому же самого устойчивого, настолько косного, что он даже уподоблен камню. Не слишком ясно, как такое тяжеловесное значение превращается в «облако», в «чистое значение». Как камень может испариться? Видимо, это не очень ясно и самому Л. С. Выготскому. Поэтому он на самых последних страницах книги достаточно элегантно расстается со значением:

«В проблеме мышления и речи мы пытались изучить ее внутреннюю сторону (чего? проблемы? — В.З.), скрытую от непосредственного наблюдения. Мы пытались подвергнуть анализу значение слова, которое для психологии всегда было другой стороной Луны, неизученной и неизвестной. Смысловая и вся внутренняя сторона (курсив мой. — В.З.) речи, которой речь обращена не вовне, а внутрь, к личности, оставалась до самого последнего времени для психологии неведомой землей...

В нашем желании разграничить внешнюю и смысловую (значение исчезло; курсив мой. — В.З.) сторону речи, слово и мысль не заключено ничего, кроме стремления показать в более сложном виде и в более тонкой связи то единство, которое на самом деле представляет собой речевое мышление» [5, т. 2, с. 358 — 359].

Если уж вспоминать о Луне и ее сторонах, то значение ближе к видимой стороне Луны, а смысл — к невидимой, о чем в следующей фразе пишет сам Л. С. Выготский. Даны вещи, предметы, слова и их значения, а смысл — искомое. Но он все же находится, хотя и с трудом, не сразу. Если думать об образе, то для изображения взаимоотношений между значениями и смыслами подходит лента Мёбиуса. В процессах понимания ли, мышления ли мы действительно сталкиваемся с противоположно направленными актами осмысления значений и означения смыслов, которые и переходят один в другой. На внешней стороне ленты может быть значение, которое в результате акта осмысления превращается в смысл и становится внутренней стороной той же ленты. Аналогичное происходит в результате означивания смысла. Так или иначе, но замена Л. С. Выготским значения на смысл несомненна и в высшей степени продуктивна. Такая замена приближает взгляды Л. С. Выготского к взглядам Г. Г. Шпета. От своих учителей А. В. Запорожца, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьева я слышал, что последнюю главу «Мышления и речи» Лев Семенович, будучи тяжело больным, диктовал накануне своей кончины. Возвращаться к началу книги да и ко всей книге было уже поздно. Но совершенная им замена представляет собой замечательное свершение мысли в слове, как, впрочем, и вся книга в целом. Может быть, предвидение собственного конца заставляет думать не о значении, а о смысле. Мысль о смысле важнее, чем мысль о значении. А. Р. Лурия иначе, чем я, прочел книгу своего учителя Л. С. Выготского! Он не увидел замены значения смыслом, а только дополнение смысла к значению: «До сих пор мы говорили о двух компонентах слова (или высказывания): его предметности и его значении... существует, однако, еще третья функциональная сторона слова, не менее важная, чем предметная отнесенность и его значение, которое имеет слово для самого говорящего и которое составляет подтекст высказывания» [8, с. 475]. Так или иначе, но заключительная фраза всей книги Л. С. Выготского: «Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания», при всей своей значимости, могла бы послужить для него началом новой книги о слове. Но такая книга (и не одна!) уже написана Г. Г. Шпетом. Правда, она трудна для понимания, видимо, не прочитана Л. С. Выготским, как и мало кем из психологов последующих поколений.

В мою задачу не входит решение проблемы, что есть единица анализа речевого мышления: значение, смысл, или осмысленное значение, или, наконец, со-значение, т. е. особый

интимный смысл слова, имеющий свои интимные формы [13, с. 470]? Именно в субъективных со-значениях, а не в объективных смыслах и значениях Г. Г. Шпет усматривал объект психологического исследования: «Не смысл, не значение, а со-значение, сопровождающие осуществление исторического субъективные реакции, переживания, отношение к нему — предмет психологии» [там же, с. 480]. Обсуждая вопрос о единице анализа, нужно учесть и то, что говорил Г. Г. Шпет о значении как о материи слова, о специальном классе оперативных значений, об отличии их от предметных значений.

## Литература

1. Бахтин М. М. Работы 1920-х годов. Киев, 1994.
2. Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Киев, 1994а.
3. Биbihин В. В. В поисках сути слова // Слово и событие. М., 2001.
4. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М., 1987.
5. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1982—1984.
6. Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987.
7. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 1991.
8. Лурия А. Р. Послесловие // Выготский Л. С. Собрание сочинений. М., 1982. Т. 2.
9. Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987.
10. Мещеряков Б. Г. Л. С. Выготский — Моцарт или Лютер? // Человек. 2000. № 1.
11. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о «Дон-Кихоте». СПб., 1997.
12. Портнов А. И. Философия языка Г. Г. Шпета // Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. Иваново, 1999.
13. Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989.
14. Шпет Г. Г. Философские этюды. М., 1994.
15. Шпет Г. Г. Психология социального бытия. М.; Воронеж, 1996.
16. Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. Иваново, 1999.